

*избранная
зарубежная
лирика*

ДИЛАН
ТОМАС



ДИЛАН ТОМАС

ИЗБРАННАЯ ЛИРИКА

**Перевод с английского
М. КОРЕНЕВОЙ**

**МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1980**

84.4В.1

T56

Предисловие переводчика

Художник Б. Алимов

T $\frac{70404-169}{078(02)-80}$ 253-80. 4703000000

© Составление. Предисловие. Перевод на русский язык. Издательство «Молодая гвардия», 1980 г.

«БАШНЯ СЛОВ»

Поэзия Дилана Томаса — одно из замечательнейших явлений английской литературы XX века. Отмеченная богатейшей образностью, сложной метафоричностью, глубоко самобытным видением мира, она буквально с первых же публикаций завладела вниманием и читателей, и критиков. Не просто завладела — заворожгла. Как никто другой из его современников, Дилан Томас знал волшебную силу слова и, безраздельно подчиняясь его творящей способности, покорял не только сердца читателей, но и новые сферы для английской поэзии.

Когда в 1952 году вышло подготовленное самим поэтом «Полное собрание стихотворений», один из рецензировавших книгу критиков, Филип Тойнби, писал: «Видя размах и насыщенность всех этих произведений в целом, нет нужды выглядеть экстравагантным, утверждая, что Томас — величайший из ныне здравствующих поэтов английского языка».

Подчеркием, не Англии — английского языка, а это значит, Америки с ее богатейшей поэтической традицией нашего времени, Ирландии, к которой еще недавно приковывал внимание всего англоязычного поэтического мира У. Б. Йейтс, регионов Великобритании — Шотландии, Уэльса... Что до последнего, то Дилан Томас — самая яркая звезда на горизонте новой валлийской поэзии, одним из зачинателей которой он и был.

Так случилось, что книга эта подвела, по существу, итог всему поэтическому творчеству Дилана Томаса.

«В книгу вошло большинство стихотворений, которые я написал, и все те, включая нынешний год, которые мне хотелось бы сохранить», — писал поэт в ноябре 1952 года в небольшом обращении, предпослании сборнику. Через год, в ноябре 1953 года, он умер во время турне по Америке, куда он отправился с чтением лекций и стихов, чтобы заработать денег, которых в семье вечно не хватало.

Творчество Дилана Томаса не ограничивалось одной поэзией. Его бурная, не знавшая удержа натура и в работе не давала ему, что называется, ни отдыха, ни срока. Он работал жадно, истощению, выступая — и с немалым успехом — во многих жанрах. Писал восхитительную прозу (рассказы и романы), репортажи, статьи, проинизанные высокой поэтичностью воспоминания. Обратившись к народной поэтической традиции, создал искрящуюся юмором пьесу «Под сенью молочного леса».

И все же в историю английской литературы Дилан Томас вошел — и вошел по праву — прежде всего как поэт, хотя собственно поэтическое его наследие невелико. Как уже говорилось, оно вместились в довольно скромный по размерам том, пополнившийся впоследствии по рукописям лишь одним стихотворением. Но место и значение истинного поэта определяется не количеством сочиненных им стихотворений — масштабностью и самобытностью его поэтического видения, самостоятельностью голоса, открытием в национальной литературе неизведанных дотоле возможностей и перспектив.

Дилан Томас родился в Уэльсе в 1914 году и, как и многие поэты, прожил короткую, но бурную жизнь, хотя она и не богата внешними событиями. Важнейшие для него всегда были связаны с выходом его поэтических сборников. Писать стихи он начал рано и уже в 1934 году выпустил свой первый сборник «Восемнадцать стихотворений».

Ситуация, в которой проходил поэтический дебют Дилана Томаса, была довольно сложна. С одной стороны — разгул фашизма в Германии с нависшей над Европой угрозой войны, с другой — подъем рабочего и демократического движения, требовавшего социальной справедливости и отстаивавшего демократию. Начинающий поэт не был, как принято считать, безразличен к социальной действительности своего времени, о чем красноречиво свидетельствует его переписка.

«Старые хрычи этого мира все еще цепляются за хаос, считая его Порядком, — писал он в 1933 году Памеле Хэнсфорд-Джонсон. — Настанет день, когда этот старый Бес-Порядок изменится, уступив место новому Порядку. Каждый день гении душат легионы старых хрычей, дальних последышей эдвардианской эпохи, во имя бога и капитала цепляющихся за отжившую и гниющую систему. Капиталисты и промышленники обращают свет во мрак. Существует одно-единственное, чего ты и я, принадлежащие к новому поколению, должны ждать с нетерпением, ради чего трудиться, о чем молить, а поскольку мы, как мы горячо надеемся, поэты и

выражаем не только свое личное, но и свое общественное «я», мы тем жарче должны об этом молить. Это — Революция».

Однако тема социальных катастроф и преобразований не заняла сколько-нибудь существенного места в поэзии Томаса. Между тем, что он видел в окружающей жизни, и тем, что воплотил в своем поэтическом мире, пролегла громадная дистанция. Его поэзия, жаждавшая обобщений, устремилась по иному руслу — к универсалиям, вбиравшим все многообразие мира и человеческого бытия. Центром его художественной системы начиная с первого сборника стало единство жизни: мысли и материального начала, человека и природы. В дальнейшем в сборниках «Двадцать пять стихотворений» (1936), «Карта любви» (1939, в него вошли и стихи и проза), «Смерти и входы» (1946) этот мотив обогащался, разрастался, обретал новые аспекты и акценты, углублялось его философское содержание, но сам он уже никогда не покидал поэзии Дилана Томаса.

Универсальность подхода к предмету, ставшему для Томаса объектом поэтического познания, и определила сложность его поэзии. Критики столкнулись с ней в первом же его сборнике. А поскольку то было время, когда поэзия, во всяком случае значительная ее часть, сознательно культивировала сложность, идя по пути, проложенному сюрреалистами, то и Дилана Томаса объявили последователем сюрреализма.

Сам поэт с таким определением не согласился. Более

того, обосновал свое неприятие сюрреализма, объявившего подсознание главным источником поэтической образности. «Мне все равно, — писал Томас, — откуда извлекаются стихотворные образы; извлекайте их, если угодно, хоть из глубиннейшего моря вашего скрытого «я»; но, прежде чем они лягут на бумагу, они должны быть всесторонне осмыслены интеллектом. Сюрреалисты, с другой стороны, соединяют слова на бумаге точно в том виде, в каком они возникают из хаоса; они не придают словам формы, не приводят их в порядок; для них хаос и *есть* форма и порядок. (...) Одна из сторон искусства поэта в том, чтобы сделать понятным и вразумительным то, что может подняться из подсознательно-го; одна из основных великих функций интеллекта — *отбирать из* аморфной массы рожденных подсознанием образов те, которые лучше всего будут способствовать достижению творческой цели, созданию лучшего стихотворения, на какое он способен».

Сложность поэзии Дилана Томаса действительно не имеет ничего общего со сложностью сюрреализма, подчинившего творчество произволу подсознания. Но она тем не менее остается сложностью, ставящей подчас трудно преодолимые препятствия на пути тех, кто стремится проникнуть в ее суть, в ее тайну *. Ее источник — уни-

* Этим можно объяснить и малочисленность русских переводов Д. Томаса; первооткрывателем здесь стал известный наш мастер М. А. Зенкевич.

версальность категорий, в которых трактует Томас отношения человека и мира.

Подобно одному из своих предшественников, гениальному поэту XVIII века Уильяму Блейку, с которым его нередко сравнивают, Дилан Томас воспринимает индивидуальное человеческое бытие исключительно как часть универсального бытия. Оно не может быть никоим образом вычленено из этого единства, не имеющего ни конца, ни начала, так как неизменно несет в себе все, что вмещает мироздание. С этого начинается цепь парадоксов: человек — индивидуум, единица — становится воплощением всеобщего, всезначимого, смертный — он обретает бессмертие, слабый и ничтожный — могущество, ограниченный временем и пространством — простирается в бесконечность.

Так Дилан Томас строит свой поэтический космос, в котором вселенная и человек представлены как неразрывное единство. Однако в отличие от Блейка его космос странным, как кажется поначалу, образом изъят из сферы нравственных исканий. Можно, подобно ряду критиков, сетовать на ограниченность поэтического видения Дилана Томаса, но нельзя не замечать, что проистекает она из природы его восприятия мира, свидетельствуя о необычайной целостности его художественной системы. Сожалея о том, что он не воплотил существенных сторон современной ему действительности, не следует забывать, что этот поэт был призван создать предельно индивидуальный и обобщающий поэтический

мир. Нагляднее всего его своеобразие выявляется, пожалуй, в сравнении с Блейком, которое обнаруживает, однако, как черты сходства, так и — что очень важно — различия. Не будь этого, Томаса в лучшем случае можно было бы считать лишь талантливым эпигоном.

Вселенная Блейка разворачивается перед читателем как извечная драма Добра и Зла. У Томаса — тоже извечная драма, но ее протагонисты уже иные: Жизнь и Смерть, и потому она предстает как грандиозный, не меркнущий в веках поединок двух начал, в котором признание смертности всего живого парадоксальным образом служит утверждению жизни. Особую смысловую нагрузку поэтому обретают в его художественной системе звенья жизненного цикла: зачатие, рождение, зрелость, старость, смерть.

Но жизнь в понимании Дилана Томаса не просто процесс, проходящий несколько стадий между твердо обозначенными точками, знаменующими начало и конец. Это высший творческий акт как в индивидуальном, так и в универсальном бытии.

У всех народов есть свои мифы, объясняющие происхождение мира. Для европейского сознания главнейшим в последние два тысячелетия был библейский миф, оттеснивший на задний план национальные языческие мифологии. Дилан Томас широко использует как самый миф, так и библейскую образность, добываясь величия и торжественности звучания. В этом он следовал давней традиции английской поэзии. С тех пор как в

1611 году появился перевод Библии на английский язык, она оказала большое влияние как на сам язык, так и на жизнь и литературу Англии. Многие исторические события, в частности английская революция XVII века и колонизация Америки, не только развивались под лозунгами, позаимствованными из Библии, но и облекались в библейские покровы. Влияние это ощутимо и по сей день как в английской, так и в американской литературе.

Но если обращение Дилана Томаса к Библии, как говорилось, было вполне традиционным, то его разработка и использование ее символики и стилистики в корне расходились с традицией. И Мильтон, и Блейк, и Элиот развивали ее тематiku и образность в их прямом значении. Томас ввел их в качестве ведущей метафоры, отъединив символику и образ от их первоначального объекта, составляющего содержание христианского мифа, и перенес их на новый объект — драму жизни и смерти.

В выборе художественных средств и приемов такой подход потребовал отказа от детализации, исключения житейских реалий и сугубо индивидуальных особенностей. Человек, таким образом, должен был предстать в стихах Дилана Томаса лишенным индивидуальных примет, в обобщенном, почти абстрактном виде. С этим связана еще одна, опять-таки парадоксальная особенность его поэзии. Обращенная к сугубо физическому, предельно материальному миру, она в то же время ка-

жется почти бесплотной, отваживаясь не только называть, но и описывать момент зачатия новой жизни, лишена эротизма; по-язычески воспевая радость бытия, не впадает в чувственность и, воспаряя в экстазе, производит впечатление беспристрастного созерцания. Кажется, будто она преодолевает физическое начало в тот самый момент, когда по видимости чуть ли не наиболее физиологична.

Однако восхождение к обобщению Дилан Томас начинал не с абстракции. Он был лириком в прямом значении этого слова, и потому вся его поэзия начиналась с себя. В ней не бывает нейтральных констатаций, утверждений, зарисовок. Каждое поэтическое мгновение окрашено у него глубоко личным отношением, пропущено через субъективное восприятие. Высшие истины преподносятся как личное откровение.

Неизменное присутствие «я» дало повод к биографическому толкованию поэзии Томаса, хотя анализ указывает на крайнюю скудость автобиографических деталей. На основе такой интерпретации поэта упрекали в эгоцентризме и инфантилизме, не позволявших ему якобы видеть ничего, кроме собственных переживаний. Обвинения эти в общем безосновательны, как в свое время были несостоятельны подобные же обвинения в адрес Уолта Уитмена (одного из любимых поэтов Дилана Томаса), с которым его, несмотря на различие поэтических манер, роднит стремление приблизиться к универсуму через лирическое «я».

С восприятием жизни как творческого акта связана необычайная активность слова в поэзии Дилана Томаса. Ведь она, в его понимании, не изображает, не воспроизводит, не воссоздает, а именно создает — творит собственный, самоценный мир и в этом равнозначна двум величайшим таинствам бытия — сотворению мира и рождению, а сам поэт возведен в высокое звание творца. Творческую и творящую силу поэзии Томас воспринимал необычайно остро, уделяя огромное внимание языку — одновременно инструменту и материалу создаваемого им мира. «Я сразу же влюбился — это единственное выражение, которое приходит мне на ум, — в по-прежнему существую милостью слов», — признавался поэт незадолго до смерти.

Любовь к слову была всепоглощающей страстью Дилана Томаса. Многие исследователи видят в ней свидетельство принадлежности поэта не только к английской, но и валлийской традиции. Правда, он не знал родного языка и вырос в среде, ориентировавшейся скорее на английский, нежели валлийский образ жизни. И все же, как показывает история, исконные культурные традиции чрезвычайно живучи, даже после утраты родного языка в активном употреблении. Тонкий и чуткий художник, Дилан Томас едва ли мог равнодушно пройти мимо бьющей подспудно струн народной валлийской культуры.

Что касается самого слова, то для него одинаково важны и его звучание, и многозначность, и морфологи-

ческие характеристики, и синтаксические функции, и ассоциативные возможности, и использование в различного рода устойчивых выражениях, речениях, идиомах. Завораживая аллитерациями, ассонансами и диссонансами — во владении звукописью ему нет равных во всей англоязычной поэзии XX века, — Дилан Томас в то же время поражает головокружительными новообразованиями, ошеломляющей плотностью метафор, своеобразными метафорическими синкопами, когда, к примеру, дерево, на котором сидят птицы, превращалось у него в «крылатое дерево», дерзкими попытками разъять речевые клише, возвращавшими первоизданную новизну составляющим элементам. Такой же новизной блещет и весь сотворенный им поэтический мир.

Что еще выделяет Дилана Томаса среди современников? Это неистребимый оптимизм его поэзии, исходящий из веры в бесконечность жизни: человек достигает звезд, он равен величайшему творцу мировой истории — солнцу, которому обязано жизнью все живое. «И смерть пребудет бессильна» — таков один из основных мотивов всей его поэзии.

В известном смысле эти слова приложимы и к самому поэту. Со времени его смерти минуло более четверти века. Но смерть бессильна перед голосом творца.

М. КОРЕНЕВА

ОСОБЕННО КОГДА ОКТЯБРЬСКИЙ ДЕНЬ

Особенно когда октябрьский день
Мне свежим ветром надерет вихры
И сквозь огонь нду в лучах кривых
И крабом по земле крадется тень,
Крик птиц, хрип ворона слышав вновь
У моря, сердце бурное ключом
Вскипает с трепетом, кровотока
Током мелодий и волною слов.

Слежу из башни слов, где заперт я,
На горизонте стройный, словно лес,
Фигур словесных женских ход и враз
У парка звездноликий рой ребят.
Велят мне, чтоб тебя создать, то явор
Звучный, то голос дуба взять, привет
От графств зеленых, то корней и нот
Велят взять для тебя, то вод взять говор.

Часы, вихляясь на окне с цветком,
Слова покажут час; как по нервам,
Смысл, по колесикам на диск взмыв, первым
Бьет утро, ветер возвещая петухом.
То мне велят взять знаков на лугах;
Трава-сигнальщик — я всем знанием ей
Обязан — цепи знымы разобьет.
То — рассказать о ворона грехах.

Особенно когда октябрьский день
(Велят паучно-едкой хмари взять
Осенней, то холмов валлийских рать)
Ядреной лапой землю драит, сеи
Оголив, бездушных велят мне слов
Взять. Истекла душа, вскипев от боли,
Предупреждая о грядущей буре.
У моря — птиц слушать темно-звучный зов.

ТОТ ХЛЕБ, ЧТО ЕМ Я

Тот хлеб, что ем я, был зерном.
Вино под корою лилось
Ветки родной;
Скосил человек зерно днем,
Ночью вихрь украл радость лоз.

В вине играет лета кровь
Во вскормленной лозой плоти,
Рожью зерно
Под ветром когда-то жило;
Солнце скосил, вихрь покори.

Та плоть, что ешь ты, и та кровь,
Что в жилах буйствует теплом, —
Вино и хлеб,
Что вспоены землей; ты ешь
Мой хлеб, мое вино ты пьешь.

ЭТОЙ ВЕСНОЙ

Этой весной в бездне рой звезд плывет;
Пышной зимой сдерет покрóва
Плен донага погода.
Лето птиц весны погребет.

Знаки — сбор неспешный с четырех
Времен берегов, долгих лет.
Дай осенью жар всех времен —
Трех в кварте нот.

Я б лето по деревьям возвещал,
Червь как-никак принес буран
Зимний, солнца погребенье;
Я б читал весну в кукованье.
Слизень мне б преподал крушение.

Пробьет червь лето лучше, чем часы.
Слизняк — ходячий численник погод.
Что он предскажет, коль лёт нетленной тли
Крах мира предречет?

БЫЛА ЛЬ ПОРА?..

Была ль пора, когда танцоры прочь
Заботы в цирке скрипкой гнать могли?
Была. Над книгой слезы лили,
Но время выслало вослед червей.
Под сводом неба защиты людям нет.
Чего не знаем, в жизни этой верней
Всего. Лишь у безруких руки чисты.
Бездушный призрак лишь неуязвим,
И зреньем превосходит всех слепец.

ЛОВИТ СО ШПИЛЯ СЛУХ

Ловит со шпиля слух —
Дубасят руки в дверь,
Видит с башни глаз —
Пальцы к замкú спешат.
Им отпереть иль так
И жить, пока не умру,
В белых стенах, незрим
Чуждым глазам?
Что в руках — плоды или яд?

За островом, что сжат
Берегами костей,
Мелководьем
Плоти, — земля без конца
И холмы без начал.
Ни стаи птиц, ни рыб
Тут не спугнут покой.

С острова ловит слух —
Пожаром ветер мчит,
С острова видит глаз —
Встает на якорь бриг.
Побежать к нему, чтоб
Свистел вихрь в волосах?
Жить так, пока не умру,
Иль моряку дать кров?
Что в трюмах — плоды или яд?

Дубасят руки в дверь,
Встает на якорь бриг,
По крыше дождь стучит.
Отворить незнакомцу,
Моряку дать приют — иль
Так жить, пока не умру?

Руки чужого и трюмы судов,
Что несете — плоды или яд?

КОГДА Б ВОЗЖЕЧЬ СВЕТИЛЬНИК

Когда б возжечь светильник, лик святой —
Зажат восьмерником в неслыханном снянье —
Померк бы, но любой, сражаясь с искушеньем,
Здесь дважды взор преклонит свой.
Из плоти сотканы черты
В интимной тьме, но ложный встанет день —
Слой красок блеклых с губ ее слетит
И саван древнюю откроет грудь.

Велят мне сердцем размышлять, оно ж,
Как разум, — поводырь дурной.
Велят мне пульсом размышлять и шаг
Ускорить, только он участится, чтоб
Встать полю вровень с кровлей. Поперек
Времен так мчу я, тихоход, мне бороду
Египетские ветры рвут.

Я слышал много лет велений
И многим летам перемену зреть.

Играя в парке, мяч я кинул — он
Еще на землю не упал.

КАК МЕЧТАЛ УЙТИ Я ПРОЧЬ

Как мечтал уйти я прочь
От раздутой лжи шипенья,
Страхов застарелых стенанья,
Что все надрывней, только ночь
День сменит, за холм упавший в море.
Как мечтал уйти я прочь
От верениц приветствий, теней,
Вкруг витающих, от их
Призрачного эха в кингах,
Громоглася поз и речей.

Как мечтал уйти я прочь, но держит страх;
Из лжи, тлеющей на земле,
Вырвется жизнь, неведомая мне,
И вдруг ослепит, шня, взмыв к облакам;
Древний ночной страх, разброд
Шляпы с шевелюрой, рот,
Прижатый к телефону,
Чаши смертной не полнят.
Иль смерть мне принять надлежит
В полурутние-полуджи?

И СМЕРТЬ ПРЕБУДЕТ БЕССИЛЬНА

И смерть пребудет бессильна.
На ветру под знаком луны
Встанут мертвые с живым едины.
И пусть наги они, пусть их кости прах,
Сияние звезд узрит в них любой;
Сойдут с ума — их разум здрав;
Океан их поглотит — встанут со дна;
С утратой любимых не сгинет любовь;
И смерть пребудет бессильна.

И смерть пребудет бессильна.
Морской спеленаты волией
Они не дрогнут перед злой судьбой.
Пусть колесуют — воли не сломить.
Вздериут на дыбу — жилы трещат,
Вдрызг вера — губ не разомкнут,
Пусть их беды в рог бараний согнут;
В прах разбитые — устоят;
И смерть пребудет бессильна.

И смерть пребудет бессильна.
Пусть не для них плещет прибой
И чайки кричат над волией.
Поник цветок, головку дождю
Под удар подставлявший; но

Пусть в дым безумны и мертвы,
Дери головой пробивают они —
К солнцу, пока не померкнет оно.
И смерть пребудет бессильна.

МЫ, ЛЕЖА НА ПЕСКЕ

Мы, лежа на песке, вникаем в моря
Желтизну и хмарь, дивясь
Насмешникам, плывущим, споря,
Рекою красной пустотой словес.
О цвете смерти желтая юдоль
Шлет с ветром вопль — ветер весел и хмур,
Как пасти моря и могил
Сонно и желто хмуры.
Безмолвье луиное; безмолвию
Гладь проливов прилив ласкает. Смерчей
Бледная владычица и штормов
Штилем монотонным излечит
От недуга морского.
Звук музыки небесной над песком
С пляской песчинок спешит
В хмари веселой, шурша, дворцов
И гор скрыть золотой сон.
На недоступной стрелке сжаты,
Средь желтизны лежим, мечтой объаты,
Чтоб ветер, берег сдув, смысл красный кряж;
Напрасно — он все ближе —
Вникаем в желтизну, прорвется
Круг золотой поры — дотла мне сердце выжгли —
Как разбиваются хребет и сердце.

О, ДАЙТЕ МНЕ МАСКУ

О, дайте мне маску, стену постройте, чтоб скрыть
От доносчицких острых эмалевых глаз
И очкастых когтей беспутство и бунт в детской
Лица моего; дайте пробку из дерева
Мне онемелого — в беззащитной молельне
Штык-язык заслонить, рот; рог сладкозвучной лжи;
Морду из дуба ослиную, а к ней доспехи
Старинные — скрыть ума блеск, надуть пронырливых;
Завесить белладонны яд — заплаканный вид
По-вдовьи спустите с ресниц: сухой глаз в шелку
Видит пускай, как другой ложь скорбную выдаст
Изгибом губ нагих и смехом втихомолку.

ПЕРЕЗВОН МОЛИТВЫ

Молитв перезвон, готовых вот-вот прозвучать,
Малыш, идущий спать, и мужчина суровый,
Что по ступеням идет тихо к больной,
Одному все равно, кого во сне он найдет,
Весь в слезах — другой: как смерти любовь отдать?

Зреет во тьме слово — за ответом небесным
Взойдет, как им известно, с земли сонной —
У ложа малыш и мужчина суровый;
Звук, сорваться готовый, обних молитв
О любви обреченной, сне безмятежном,

Горем одним взлетит. Кто ж сыщет покой?
Взрослый сникнет слезой? Сладко малыш прспит?
Молитв перезвон, готовых вот-вот прозвучать,
Призван живых объять и мертвых. Муж суровый,
Войдя к умиравшей, встретит ее живой —

Любовь ожила, согрета его теплом.
Малыш — ему все равно, кого тронет мольба, —
Утонет в печали, как смерть глубокой,
Сна темным оком увидит — прощальный
Вал захлестнет его вверх, к той, что мертва.

СТИХИ В ОКТЯБРЕ

Под небом мой тридцатый шел год,
Разбужен утра призывом — громким грачей
Криком и чаек, молитвой вод,
О стену
Стынущим стуком
Лодок в сетей паутина, соседний лес
Манил и затои, приход цапли священный,
Рай мидий, берег, —
Под звук их
В сонный город ступить мгновенно.

Начинался мой день рожденья —
Имя мое над сном ферм и белых коней
Птицы вод и крылатых деревьев
Пронесли.
В дождливую встал
Я осень, вышел над ливнем всех своих дней
За черту городскую, и с цаплей прилив
Отпрянул назад,
Закипев,
Город, проснувшись, ворота закрыл.

Жаворонкам в клубах облаков
По-весеннему тесно, через край брызжут
Дроздов трели из чащи кустов.

Лаской холм
По плечу треплет
Летней октябрьское солнце; певцов вошло
Сладкозвучье в утро, где брел я и слышал:
Ветер, дождь выжав,
Далеко
В лесу дышал подо мной стынью.
Дождь белесо кропил над бухтой,
У взморья, над церковью, мокрой, с улитку,
Чьи рожки туман окутал,
Над замком
Совино-бурым,
Но весны и лета сад в розах рассказней
Цвел под жаворонковым небом. Мог там я
Весь день рожденья
Дивиться,
Но круто сменилась погода.
От страны она отвернулась
Блаженной. Но с синего алтаря неба
Вновь повеяло лета чудом,
С грудамн
Груш, яблок, ягод
Красных. Мне ясно предстал в той перемене
Малыш — с матерью шел он забытым утром
По присказкам дня
И света,
Зеленых часовен легендам

И полям дважды рассказанным
Детства, — его сердце билось в моем, мне жгли
Щеки слезы его. Лес, гавань —
Здесь малыш
Умерших чутким
Летом правду счастья поведал камышу
И деревьям, камням и рыбам прилива.
Смысл загадочный
С тех пор жил
И пел в воде и птицах певчих.

Так дивиться весь день рожденья
Я б мог, но погода круто сменилась. Миг
Счастья того малыша блаженно
На солнце
Пел, хоть тот умер
Давно. Винзу город стыл в октябрьской крови.
Год мой тридцатый под небом плыл летним полднем
Моего сердца
Пусть звенит
Правда над холмом в годов череде.

ГОРБУН ОДИНОКИЙ

Горбун одинокий
Лишь отпирал ворота,
Впустив деревья и воду,
Меж них и воды маячил в парке,
Покуда не пробьет во мраке
Воскресный колокол за оградой.

Ел хлеб, разостлав газету,
Пил, зачерпнув из фонтана,
Где пускал я кораблик, дети
В кружку ту на цепи песок сыпали рьяно.
Спал ночь в конуре до света,
Но на цепь не был посажен.

С ранними птицами выйдя,
Он в парке — воды тише.
И — Мистер, — кричат, — эй, мистер! —
Городских мальчишек
Оравы, но чуть он их засек,
Вмиг наутек

За альпинарий и пруд
Звонким зверинцем рош, хохоча,
Сгорбясь назло, бегут,
От палки сторожа стрекача
Дав. Газетой грозит
Он, сметая в кучи лист.

Старый пес бездомный,
Неприкаян средь лебедей
И иянек, а с утесов
Скачут тигры в глазах у детей,
Победно рыча, и рощи
В снни тонут от матросов.

До вечернего звона
Фигуру жеищины стройной
Творня из согбенных
Костей, стройной, без нзъяия,
Чтоб всю ночь простояла,
Когда цепь и засов —

Ночь в неприютном парке —
Когда решетка, повилка,
Трава, кусты, пруд и птицы,
Ор ребят невинных, как земляника,
С горбуном в будке, пришельцы,
Все сойдутся во мраке.

НА ГОДОВЩИНУ СВАДЬБЫ

Разверзлось небо над
Неладной годовщиной тех двоих,
Что дружно три года шли
Долгим путем своих клятв.

Сбился любви их путь,
Рвет цепи Любовь и те, кто ей болен;
Из каждой чреватой бурей
Сизой тучи бьет в дом их Смерть.

Под неверным дождем
Встретились, кого развела любовь:
Ливень в окна сердец их льет,
Дверь в мозгу объята огнем.

СПАСИТЕЛЬ БЫЛ

Воды обычной,
Правды безжалостней,
Радия реже спаситель был.
Слушать звон нот золотых
К нему под язык
Не знавших солища детей шли оравы.
Взор сажали желаний рабы
В темницы его безотмычных улыбок.

В пустыне средь скал
Детский глас возвещал:
Из бесчинств его верных пришлось творить
Покой, среди земли
Громыханий в щелях
Яростных воплей тишь, тишь воцарить.
Человек человека терзал, птиц,
Зверей — спрятан страх в мертвящем дыхании.

Славу слушать в храмах
Его слез. Он грянул —
Вы дрожали под его кудлатой рукой:
Ты, не уронивший
Наземь ни слезинки лишней
На смерть человечью, волной неземной
Лился на радость, облачной влаге
Щеку подставив: я и ты — нас лишь во мраке.

Два гордых, обок тьмой
Скрытых брата, зимой
Скудному году всё плачутся:
О мы, что, не выжав
Вздоха скупого, слыша,
Как рядом разит ближнего алчность,
В укрытые стены синей стеной,
Льем градом слезы в смутной печали

О том, что понур дом,
Не баявавший наш сон,
Храброй смерти единственных, нам
Не встреченных, — видим, как
Нам впрямь чуждых прах
В дом наш летит сирий. Пробуждаем
Загнанный в нас нежный послушный шелк,
Простую любовь, которая горы свернет.

НА СВАДЬБУ ДЕВСТВЕННОЦЫ

Средь толп влюбленных, когда в зрачке ее всемогущих
глаз

Спящим рассвет золотое свое вчера
Застал и взошло из ее ложа на небо
Солище нового дня, одиноко от сна
Чудесная девственность, древняя, как хлеба и рыбы,
Восстала, хоть чуда миг — молнии бесконечность.
Исхоженная верфь Галилеи прячет флот голубей.

Не пылать на подушке, как море бездонной,
Где с ним она обручилась, солища желаньям.
В зренья и слух сердце ее обратилось. Рот
Снянья искал. Ласкал дух золотой излученьем
Легкую плоть, под сенью ее век хранил золотой скарб.
Спит

Мужчина, где синя огнь, его рук она познала
Солнце иное — крови несравненной ревнивый бег.

ВИДЕНЬЕ И МОЛИТВА

I

Кто
Ты, тот,
Что рожден
Рядом со мной,
Чей слышу я стон
За соседней стеной,
С птичью кость толщиной? Так
Громко лоно разверзлось, мрак
Смял дух и исшедшего сына.
В комнате кровноединой,
Где зрим времени бег
И сердца тесненье
Людского, приник
В благословенье
К чаду не
Крест, а
Мрак.

Мне
Камнем
Недвижно
Лежать под стон
Матери, скрытой
За стеной в птичью кость,
Повитух чуда вить весть.
С челом насупленно-кислым
Боль «завтра» роняет, как терний гроздь,
Пока ярый младенец имя
Не выжжет мне пламенем,
Крылатых стен не пробьет
Жарким теменем,
И чресл его тьма
Не падет
В ясный
Свет.

Я,
Птичья
Лишь треснет
Кость, а за́гя,
Жаром взъяренная
Небес раскаленного
Князя, впервые зальет
Пришедшее царство его
И деву-мать окропленную —
С костром во рту он рожден,
Ураганом укачан —
Поцелуем его спален,
В блеске его риз,
Я вдруг с плачем
Брошусь из
Тщеты
Тьмы.

Был
В склоне
Солнца, в крыл
Его циклоне
Свнстящем, я, тот,
Кто слезы у трона,
Людьми осушенного, льет,
Потерян в ярости первой
Его волн; молнии поклоненья
Траурно тлеют в молчанье
Черном: выйдя к пристани
И к тому, кто нашел,
Потерян я вновь,
Его ран жжет
Огонь, мне
Слепит
Крик.

Там,
Где храм,
Я нагой,
В пламенной той
Грудн пробудясь,
С ярым буйством столкнусь
Неплененной морской дали,
С вознесеньем паров тлена. Пыли
Заклятой взвихреньем. В капле
Каждой огонь его иалит.
Человечьего утра
С тлетворной урны
По спирали
Взлет за грань
Земли
И

Дар
Адам
Прославлял
Сотворенья,
Новорожденно
Солнце пел океан!
О крылья детей! К ранам
Древних центробежный полет
Юношей из теснин забвенья!
Вечно павших в бою поход
Небесный! Откровенья
Святым! Клонит домой
Мир. Провозвестьем
Зняет боль,
И смертью
Объят
Я.

II

Во имя всех заблудших, довольных
Уделом падали скотским,
Под хор погребальный
Вьючных птиц, груженных
Слизью утопших,
Сизым прахом,
Несущих
Сущий
Дух
Земли,
Словно страх
В перьях черных
И в клюве золу.
Хоть не из тьмы скорбных
Братьев печали я, — молю:
Радость забила под сердцем —
В глубиннейшем дне тайная дверца.

Чтоб тот, кто познал луну с солнцем
Теперь в молоке материнском,
Пока рот не вскипел цветеньем,
Под свод мог вернуться
Кровноединый
За птичьей стеной
И лоно,
Давшее
Сей
Всем свет —
Младенца
Для поклоненья —
Ослепительный склеп —
Его восхожденью
Вспять отверзлось. Из сердца
Тьмы молю во имя беспутных,
В некрещеных горах заблудших.

Чтоб, вопреки мольбам, их поднять
Рукой, шипами пронзенной,
К раке его вселенской
Раны, вертограду
Капли кровавой,
Он мертвых, как есть,
Оставил,
Терпи,
Спи
В глухом
И темном
Камне — отраде
Слепой скалы. Твердь
Сердца не тронь — бьется
Пусть о пик, недобрый солнцу,
Липкая пыль мчит в дол, к истокам
Рек в ночи, ниспадающей от века.

От века испадающая ночь—
Звезда, земля — влекущие
Сонм спящих, чьим языком
Я по морю и суше
В набат бью: слепяща
Его сиянья
Ярь. Знаком
Нам край,
Дол,
Ходы,
Могилы,
Склепы, своды
Того паденья
Без конца. Меж кормчих
Сонных молит лазарь скромный —
Ввек ему не пробуждаться:
Смерти край лишь лоскут размером с сердце.

И в форме глаза звезда заблудших.
Во имя безотчих, нерожденных
Во имя и не возжедавших
Повитухи-утра,
Ни хлопот, ни рук,
Во имя никого,
О, из ныне
Присущих
И из
Ни —
Кого
Грядущих
Молю: солнце
Алое, праха
Цветá соедини
С серостью могильной. Мраком
Земли муки его осенй
В пересудаченный вечер. Амниъ.

Свернув за угол молитв, загораюсь
В нежданном благословенье
Солица. Ради проклятых
Я б повернул назад,
Но солище звонко
Вершит обряд
Крещенья
Небес.
Я
Найден.
Пусть опалит.
В купель раны
Вселенской погрузит.
Молний блеск оно на крик
Мой шлет. Его ладонь голос
Мой жжет. Растворяюсь в сиянье.
В конце молитвы — солища бубен.

ФЕРН-ХИЛЛ

Когда я был резв и юн под яблонь ветвями,
Под пение дома, и счастлив, как зелена трава
И звездно небо над долиной,
Время велело мне
Встать золотым в зенице ока,
Среди телег в чести, я княжил в яблочном крае,
В довременье глядя свысока, как ячмень, листва,
Маргаритки нисходят
В пучину опавшего света.

Беспечен и зелен, средь овниов прославлен, я
На счастливом дворе, где ферма была мне домом,
Пел под солнцем, что юно лишь раз,
Время велело мне
Играть, озолотив милосердьем,
Злато-зеленый охотник, пастух, я пел: под мой рог
Пели бычки, с холма таял лис чутко и хрустко,
День субботний лениво
Журчал по камням священных рек.

Солнце все напролет длился тот дивный бег, травы —
Вровень с крышей, песни из труб струями; зеленью
Пламенея, как трава, росно,
Дивно забавы
Кружили. Я отъезжал ко сну

Под ясным звездным покровом, а филины крали
Ферму, в благодати стояла слышал я всю луну
Напролет полет сов и стогов
И конский топ сквозь тьму.

А там — пробужденье, ферма — на месте, как путник,
Седой от росы, с петухом на плече: в блеске все
Открылось Адаму и деве,
Вновь сошлись небеса,
Круглотой налилось солнце.
Видно, случилось это, когда из вихря возник
Уж ясный свет, из теплого ржанья зеленого
Стояла зачарованно кони
Вышли на луг хвалы.

У лис и фазанов в чести, рядом с веселым домом,
Под свежими облаками, под возрожденным солнцем,
Я гнал очертя, рад, что сердца
Век долог, желанья
Мон стлались по травам вровень
С крышей, ничуть не печалась в пути небесно-синем,
Что время в напевном строе детям злато-зеленым,
За ним сходящим в немилость, даст
Лишь горсть утренних песен.

Ничуть не печалась в день белый, как агнец, что время
Под тенью моей руки, при вечном восходе лун

Вспорхнет со мной к ласточкам ввысь, ни

Что, отъехав ко сну,

Услышу, как оно поле умчит,

В бездетном крае проснусь, навек брошенном фермой.

О, когда в милосердьи времени я резв был и юн,

Узник зеленый и смертный,

Я в цепях его пел, как море.

НАД ХОЛМОМ СЭРА ДЖОНА

Холм сэра Джоиа.

Там, в облаке, полиом,

Как парус, горящий ястреб тянет лучамн глаз

На виселицу когтей в сумерек сгустках малых птах,

Птиц, в бранчливых кустах

В час

Мглы лебедино поющих, воробьев боевитых

Блаженно разлит

Над вязов возней в честь ярого тайберна * гам,

Вдруг искрой промчит

На должике ястреб — цапля святая, что, сгорбясь,

В Таун рыбачит, застынет косым надгробьем.

Взмах — перьев прах-пух —

Галок черный клобук

Праведно холм надел; удавкой ястреб завис

Над реки плавниками — вновь спешат безответно

Птицы под ветра

Свист.

Шурша в камышах, грустный рыбарь произает

Ракушкой мощный

Мол. «Придите и будьте убиты, чик-чирик», —

Зло клекочет

* Тайберн — в старину место публичной казни в Лондоне. (Примеч. пер.).

Ястреб. Раскрыв ласты воды, в полете псалмов,
Теней, я смерть средь клешнегих рачков-плясунов,

Как буя сигнал,
В ракушке прочитал.
Хвала ястребу в ястребоглазой мгле — висит
Фитилем зажженным, змеясь, под клейменым крылом.
Вод и кустов
Птиц
Желторотых пусть благостно льется: «Чик-чирик, пойдем
И умрем».
Без птиц блаженных пустеют вязы и галька. Нам
Взгрустнулось вдвоем:
Я, юный Эзоп, басни творю под перезвон
Камбал; цапля, в затоне, — гимн святой в перловниц

Долине дальней
Извито-хрустальной;
Меж белых журавлей на ходулях снуют челны
У пляшущих врат воды, под суд вершащим
Холмом судачим
Мы
С цаплей о вине набатной птиц сбившихся — бог,
Кем звуку дан
Срок, ради трели в груди спаси их в бездние молчанья,
Ради рулад,
И помилуй. Цапли грусть у вязкой кромки.
В просвете вод и сумерек — перьев кровавых

Метель, В склоненье
Цапли отраженье
Несет улов слез Таун, Желторотых пичуг
На холме не слышать, лишь травинкой в ладонях сжатых
В ограбленных вязах
Вдруг —
Уханье сов. Всей музыки — цапля в низинах
Чешуйчатых волн
Бредет по щиколотку; я под плавное пенье
Плакуче-ивовой
Реки, чтоб души отплыли сгинувших птиц, до ночи,
В камне, временем стертом, высекаю ноты.

НЕ ТИХОМИРЬСЯ ТЫ ПРЕД СХОДОМ В НОЧЬ

Не тихомирься ты пред сходом в ночь,
Кипит пусть буйно старость под закат.
Ярись же, когда свет уходит прочь.

Хоть знает мудрый: мрак не превозмочь,
А словеса — не громовой раскат,
Не тихомирится пред сходом в ночь.

Благой, тужа в отлив, сколь ни морочь
Себя, как добродеем мог сверкать,
Ярится, когда свет уходит прочь.

Буян, готов и солнце нстолочь,
А после увидеть, что сам был кат,
Не тихомирится пред сходом в ночь.

Бирюк, зрив слепо, что бельмо точь-в-точь
Как метеор способно в небе ткать,
Ярится, когда свет уходит прочь.

Меня, отец, кляни ты во всю ночь,
Рыдай, в печальной выси видя скат.
Не тихомирься ты пред сходом в ночь.
Ярись же, когда свет уходит прочь.

В СЕЛЬСКОМ СНЕ

I

Нет, никогда, детка, не бойся и не верь,
В зачарованном сне изъездив сказок страну
Взад и вперед, что из чащи выскочит волк —
В росный год твое сердце съесть в светлом лесу;
Родная, зверь
В белоовечьей шкуре не подберется теперь,
Так сладко бляя, так грубо, даю зарок.

Спи, детка, мирный сон твой пусть будет глубок,
Разъезжай в мудрых чарах средь роз и графств
Немудрящих сказок: королем ферм пастух
Не обернется, принцем льдов — свинопас.
Доколь восток
Не вспыхнет, из просватанных и женатых никто
Не прельстит медовое сердце и слух.

И невинной, всаднице, мчащей во весь опор,
Ласками убитой, в чутком долу не лежать, слез
Средь плюмажей не лить. От ведьм на метле
Защитой будь цвет и папоротник сельских грез.
Лесной убо
Тебе, недоступной в крепком и сладком сне спорам
Выводков в камышах. Ни за что на земле,

Пока колокол непреклонный в сон тебя
Не склонит, не верь и не бойся, что в кровь войдет
Чар души деревенской пламя и лед, как бред,
В той скачке вширь и вдоль. Кто в безлюдье, в тиши,
льнет,
Звонким звеня

Эхом в звездном колодце, утесы будя
Гор под щербатой луной, как не лунный свет?

Простерт холм к ангелам. Птица ночи трубит
В келье меж куп и скитов лнствы, славя свое
Древо с малиновым горлом — трех Марий в лучах.
Глаз леса звериный sanctum sanctorum горячо
Молнтву творит

По четкам дождя. Сов набат. Грустный дух скорбит.
Лис с норой — ниц перед кровью. Звезд в лугах

Восход славят сказки. У преклоненных трав
Алтаря — табун небылиц. Больше страшишь
Не волка в блеющей шкуре, не прица, нет,
Клыкастого с жадной фермы, в трясине любви,
Но вора, чей нрав

Росно-кроток. Природа священна: познав
Зелени благо, пребудь в ее лоне, цвет

И песнь — тебе щит в светлом лесу под луной,
Катающей молитву. В тихих чарах усни
В прыткой, как белка, роще, благословенна ты

Под льном, соломой, звездой: по ветру гои
Ты, обет свой
Храия, в четыре страны, но твердо усвой —
Выйдет вор из паутинио-клювастой тьмы,

Меж цепких ветвей верный, бесшумный найдет
Путь, бесшумный, как снег, кроткий, как на шипах роса;
Пока в башне не грянет колокол грозный,
Над амбаром сказок на любовь, что я потерял,
Сна не найдет,
И по расступившимся водам дух не пройдет, —
Неизменно путь он находит, ночью бездонной

От падучей звезды, под которой ты родилась,
Как падает на руно снег, дождь, град, роса —
На сбинуто ветром пыль, кочки листьев сонных,
Как из стойл золотых туман плетет чудеса,
Как у нас
В отверстой ране цветет крылатых семян сказ-
Как безмолвный падет мир в безмолвья циклоне.

II

Ночь над стогами, крылья ряженой в ленты птицы
Великой Рух, оленья упряжка в облаках!
Молитвы пляшущая сага! На гончих ветрах
Хрипло грачи
Читают в черных парящих храмах книги птичьн
Святые! Среди петухов огнем рыжий лис

Пылает! Ночь, птиц прожилки в леса крылатом
Запастье! В кружеве листьев пасторальный ток
Крови! Соловьиных трелей и сказок поток

Над рощей

Чернорукой, в рукавах, пушистых, как иней!
Дух долины, разбуженной пеньем, холм

В стихаре кипарисов! Млечных струй дождя
Сказки, бьющих звонко в подойник двора! Крови
Проповедь! В жилах птичий трезвон! Ловят

Серафимы

Сагу русалок! Предтечи-грачи! Едины
О нем, кто придет огненным лисом, все твердят

В эту ночь, налетит, как подкованный шквал.
Музыки озаренье! Чайку с черной спиной
Колышет воина. На копытах, подбитых луной,

Бесшумно мчит

Пена по плещущим просторам озер. Летит
Музыка стихий чудотворная! Вода,

Твердь, пламя, воздух собирают в белый обряд
Мою любовь, в кудрях золотых, как солома,
С синими, как неба просвет, глазами. В доме

Осиянием,

В небесной скачке истинна, благословенна,
Она спит так тихо, что все планеты подряд

Небо окрестить могло б, колокол — бить, мертвых
Вор — невольно росой окропить, ночь — взор
сомкнуть —
За вращенье Земли в ее сердце святом. Чуть
Слышно, как рос
Разлив послушный к гирляндам цветов, как мороз
И снег нареченный, как облаков легких

Флот, он, слыша, как в груди ее рана ходит
Вкруг солища, нареченный к милой моей войдет,
Но не рану украсть, взор, блеск волос иль полет —
Сагу молитв
В святотатстве своем и веру похитить
В ночи и бросить ее невозбранно: в скорби

И нагоде под своевольным проснется
Солицем она. Век храни обет, милая, свой,
Верь и с рожденья страшись ночи безбрежной той,
Когда придет
Он. Сельский сон с зарей отлетит, и явит восход:
Бессмертна вера твоя, как зов смиренного солнца.

ЭЛЕГИЯ

Он слишком горд был, чтобы умирать,
Разбит и слеп, он встретил смерть лицом,
В тот темный день его окутал мрак —

Старик суровый бился храбрецом
В тенетах тесной гордости своей.
Пусть ему средь тучных отар легко

Спится — ни покой, ни смятение ввек дней
Бессчетных бег смертный не смутят — высоко
На последнем холме, под крестом и травой,

Любовь его праху. Он тосковал
По материнской груди, в смерти слепой,
Неблагой забвенья и тлена ее искал,

Земли родной праведного суда. Пусть
Старику забвенья не дано — ему
Да воздвнется, я во мраке молил, пусть,

В спальне поникшей, в притихшем дому
У постели слепой до полудня за миг —
И ночи, и света. Мертвых поток

Жилы вздул бедных рук его. Я проник
Его незрячим взором в моря срок.
Старик истерзанный, добрый, больной,

Мне не стыдно признать, что ни Он, ни он
Век ни за что дух не покинут мой.
Невинный, он смерти страшился; стон

Лишь только на боль щедрых его костей —
Ненавидевший бога добрый старик
Бился в тисках гордости жгучей своей.

Всего добра — кол да двор, стопки книг.
Он и в детстве слез не знал. И сейчас
То же: рыдала скрытая рана.

Видел я, как погас свет его глаз.
И все ж под сводом неба светозарным
Слепец везде со мной — во взоре сына

Раскниут луг, хоть беды мира все
Обрушились, как снежная лавина.
Когда ж настала смерть, он, горних сфер

Страшась, сдержать, хоть горд был, слез не смог:
Меж слепоты и смерти, двух ночей,
Застигнут в темный день, их скрыл он. Темный рок!

Пока я жив, он жив в душе моей.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>М. Коренева. «Башня слов». Предисловие</i>	3
Особенно когда октябрьский день	14
Тот хлеб, что ем я	16
Этой весной	17
Была ль пора?..	18
Ловит со шпилья слух	19
Когда б возжечь светильник	21
Как мечтал уйти я прочь	22
И смерть пребудет бессильна	23
Мы, лежа на песке	25
О, дайте мне маску	26
Перезвон молитвы	27
Стхи в октябре	28
Горбун одинокий	31
На годовщину свадьбы	33
Спаситель был	34
На свадьбу девственницы	36
Виденье и молитва	37
Ферн-Хилл	49
Над холмом сэра Джона	52
Не тнхомнрся ты пред сходом в ночь	55
В сельском сне	56
Элегия	61

Томас Д.

- Т56** Избранная лирика. (Предисл. и пер. с англ. М. Кореневой; Худож. Б. Алимов.— М.: Мол. гвардия, 1980. — 63 с. — (Избранная зарубежная лирика).

15 к. 65 000 экз.

Основная творческая выдающегося английского поэта-новатора середины нашего века Дилана Томаса — возвышенный оптимизм, исходящий из веры в бесконечность жизни и высокое призвание человека на земле.

**ББК 84.4Вл
И(Англ)**

Т 70404—169 253—80. 4703000000
078(02)—80

ИБ № 2269

Дилан Томас

ИЗБРАННАЯ ЛИРИКА

Редактор **Ся. Котенно**

Художник **Б. Алимов**

Художественный редактор **А. Степанова**

Технический редактор **З. Ходос**

Корректоры **Т. Пескова, Е. Сахарова**

Сдано в набор 07.02.80. Подписано в печать 23.06.80.
Формат 60×90^{1/2}. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условия печ. л. 2. Учетно-изд. л. 1,8. Тираж 65 000 экз. Цена 15 коп. Заказ 2410.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сухоаская, 21.

15 коп.

Моего сердца
Пусть звенит
Правда над холмом в годов череде.

Д. Томас

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ